

Память прихотлива. Казалось бы, ну, что ей стоит воротить дорогое тебе минувшее во всей его полноте, с прямо-таки бесценными теперь мелочами-подробностями... Ан нет: мелькнёт что-то обрывчато-расплывчатое, как на исцарапанной киноплёнке послевоенных лет, заденет сердце, и – нет его, растворилось, растаяло.

И сидишь, прикрыв глаза рукой, и надеешься: вдруг вернётся?

Пытаешься теперь уже усилием воли вернуться в далёкие годы: что-то домысливаешь, додумываешь, и при этом – невольно – высветляешь что-то, кладёшь ретушь. Восстановленная таким образом картинка порой получается далёкой от оригинала, но расстаться с ней жалко. И ты пытаешься её сохранить. Берёшь чистый лист бумаги и выводíš на нём первую строку...

Из самого первого, сквозьтуманного, не имеющего точной датировки, но уже – нетменимо-личного: старая прялка, сгорающая в печи, согревает озябших людей, которым негде (и нечем) больше согреться. Но прялку всё-таки жалко – она “затейливой работы”, чьё-то овеществленное умение в ней, чей-то художественный взгляд, может быть, даже чья-то судьба.

*Не помнят старожилы давно такой погоды:
Метель срывала крышу, царапалась в окно...
В печи пылала прялка затейливой работы,
Рассохшаяся прялка, забытая давно.*

Да, случай с прялкой – не подробность моей жизни, но действительность особого рода – художественная. И создал её – размыто-зримую, волнующе-влекущую – совсем мальчишка, мой ровесник. В журнальной публикации (кажется, это журнал “Юность”) обозначено имя, которое мне ничего не говорит, – Николай Дмитриев. Наверное, мы с ним чем-то похожи, иначе откуда бы взяться при первом знакомстве с текстом чувству родственной вовлечённости, радостного узнавания?

Случай, о котором идёт речь в стихотворении, похоже, придуман, но я, студент юрфака, уже наученный чётко вычленять причинно-следственные связи и логические закономерности, почему-то не хочу этого видеть. И замечаю

не очевидную художественную условность ситуации, а такие, в сущности, мелочи. Например, то, что лирическому герою стихотворения тоже эту прялку жалко...

*В пыли и в паутине, узорный круг расколот,
Её когда-то грело тепло девичьих рук...
Но что я мог поделат? Стоял собачий холод,
И не было ни щепки на сотни вёрст вокруг.*

А ещё для меня важно, что не для себя же, не для собственного комфорта сжигает лирический герой “тепло девичьих рук”.

*И возвращались люди, усталые и злые,
И удивлялись люди: откуда здесь дрова?
Потом к огню садились, от холода немые,
Отогревать у печки улыбки и слова.*

*Усаживались тесно. И каждый прялку видел:
В горячей позолоте она жила пока
И выпрядала нити. Последние из нитей,
Те, что соединяют трубу и облака.*

Тогда, в семидесятых (шёл семьдесят третий или семьдесят четвёртый год), вряд ли я знал такое умное слово, как “умозрительность”. Но то, что с точки зрения событийной стихотворение было не слишком убедительным, понимал: что же это за место такое, где есть старожилы, старая прялка — и в то же время “ни щепки на сотни вёрст вокруг”? Опять же, люди “усталые и злые” — кто они, откуда взялись, куда возвращались? Что их там, в этих гиблых местах, держало?

Все эти “нестыковки” даже для меня, не слишком искущённого в тонкостях поэтического ремесла начинающего стихописца, были очевидны. Но странное дело: при явной условности созданного в этом стихотворении художественного мира, во взгляде автора я не видел и крохотного отсвета фальши: он действительно видел это.

Сочетание внутренней чистоты автора с романтической приподнятостью поэтического рисунка создавало ощущение неповторимости и даже подлинности происходящего, как действия некоей волшебной, грустно-светлой сказки. Сказки, поделившейся со мной неустрашимой правдой поэзии: не мука, а “горячая позолота”, не смерть, а нить, соединяющая, роднящая эти две гордые стихии — землю и небеса.

А это уже более сфокусированная картинка, может быть, потому, что более поздняя? Воронеж, весна семьдесят шестого. Тает снег, солнечные зайчики обнимаются с мокрыми ветвями, “солдатиками” ныряют вниз, заставляя смеяться чёрные тротуарные лужи. Я шагаю, не разбирая дороги; в руках — тонюсенькая молодогвардейская книжица, где на обложке, на фоне сельских далей и высоких облаков — танк на пьедестале. И название, похожее на только что оттаявшую береговую лозину-талину: “Я — от мира сего”.

И знакомое имя — Николай Дмитриев.

Я её, эту книжицу-тетрадку, уже “проглотил” — в магазине, в троллейбусе, на ходу. В ней есть и грусть, то явная, то затаённая, но мне кажется она дышащей белым парком проталиной в родной моей придонской степи. Или — ластящимся к той проталине солнечным зайчиком, сумевшим проскользнуть сквозь серую вату туч. Проталина, солнечное пятнышко — как недолговечны, как уязвимы они и в житейско-природном, и в метафорическом своем бытовании!

А поди ж ты: не страшна им ни схватывающаяся по макушкам бугров белыми бурунами позёмка, ни вечерняя ранневесенняя подморозь, ни подступающая тенью оттаявшего берегового чернолесья темнота.

Им не страшна жизнь, как тому отчаянному цветку с таким русским именем, золотящему ранним цветением своим только что проступивший из-под снега суглинок вдоль обрыва.

*Над обрывом мать-и-мачеха цветёт,
Золотой пыльцой по просеке метёт.*

*Не в горшочке, не в теплице — не в раю,
У нетающего снега на краю.*

Потом я эту книжицу не раз и не два перечитаю, не запоминая даже — вдыхая, впитывая в кровь, как вечерующее мартовское заречье, эти охлаждающие грудь, прозрачно-строгие, хрестоматийные строки:

*В пятидесятых рождены,
Войны не знали мы, и всё же
В какой-то мере все мы тоже
Вернувшиеся с той войны.*

*Летела пуля, знала дело,
Летела тридцать лет подряд
Вот в этот день, вот в это тело,
Вот в это солнце, в этот сад.*

*С отцом я вместе выполз, выжил,
А то в каких бы жил мирах,
Когда бы снайпер батьку выждал
В чехословацких клеверах?!*

Это и обо мне тоже: отец мой всю войну прошёл — на передовой, в ствольной противотанковой артиллерии.

Это о почве и воздухе, о вечном долге нашего поколения (лучше и спустя десятилетия не сказал никто), но ведь не только об этом, верно? А судьбы наших родителей, грозная година страны, кровная связь поколений — разве не стоит всё это в глубинах этого строгого поэтического образа?

Можно сказать, сразу и эпос, и лирика, и драма — в трёх четверостишьях. . .

Не менее ёмко и точно сказано и о том, что, в силу возраста автора, вроде не могло, не должно было ему открыться. Хотя почему — не должно? Ведь и самого Николая, по рождению и мироощущению — человека сельского, равнинного, речного да лесного, жизнь рано попыталась оторвать от корней. Он удержался, но разве чужой была ему дума-боль старого деревенского человека, который оказался вдруг (“Внучка деда привезла, на девятый вознесла”) в оторванном от земли, каменном мире?

*Ночью дед вставал — не спится,
Письма сверстникам писал.
Словно раненая птица
Над балконом нависал.*

*Думал: что теперь в деревне,
Живы ль, нет его друзья?
И что старые деревья
Пересаживать нельзя.
 (“Парк насажен, лифт налажен...”)*

Правду люди говорят: в родниковом срубе глубину взглядом не вымеряешь. Кажется, опусти только руку в воду — и тут же тронешь вихрящиеся у воронки-истока белые песчинки. А попробуешь дотянуться — не тут-то было.

Так и в Колиных стихах: глубина — родниковая.

А то, что принято именовать любовной лирикой, звучит у него как восторженный вздох, как порыв ветра в молодой листве, как целование светоносных девичьих рук обветренными мальчишескими губами.

*Пусть придёт потоп
Или смертный вихрь,*

*Пусть сама потом
Ты забудешь их —
Как на трёх китах,
Как на трёх слонах,
Мир стоит на трёх
На твоих словах.*

Как близко, как дорого мне всё это было...

Через несколько месяцев, окончив университет, я, молодой-зелёный, уехал работать следователем прокуратуры в отдалённый сельский район. Осень, глушь, ранняя темнота, съёмный угол в чужом доме, ни друзей, ни знакомых. Но потянешься таким вот неласково-долгим вечером к стопке книг на столе, найдёшь на ощупь заветную — и вот он, Коля Дмитриев, перед тобой, с чуть виноватой своей улыбкой.

Он не утешает, он просто рассказывает тебе о жизни — разве о своей только?

*За окном просёлок хмурый
Да кротоми взрытый луг.
Я — полпред литературы
На пятнадцать сёл вокруг.*

*Много теми, много лесу,
Всё трудней приходят дни,
А дипломе что там весу —
Только корочки одни!
(“Из письма в институт”)*

И становится легче. Ведь ты уже не одинок.

Так и пережили мы с Колей те тёмные ночи и трудные дни.

Через время, уже по весне, дал я почитать книгу “Я — от мира сего” одной знакомой девушке, горожанке, с трудом привыкавшей к чужой для неё сельской жизни. Девушка та вскоре уехала в город, насовсем, а книгу мне не вернула. Наверное, забыла. Но с Колей Дмитриевым это нас не разлучило: он стал всё чаще заходить ко мне в гости — публикациями в альманахе “Поэзия”, новыми книгами.

Так и идём вместе по жизни — и теперь, когда его уже нет на этом свете...

2

Но кто же он такой, этот дорогой для меня (и, знаю точно, ещё для многих и многих) человек, большой русский поэт со стеснительно-внимательным взглядом? Отвечая на этот вопрос, без биографических подробностей не обойтись.

Николай Фёдорович Дмитриев родился в селе Архангельское Рузского района Московской области в семье сельских учителей. Случилось это в 1953 году, на Татьянин день, 25 января. Отец, Фёдор Дмитриевич, фронтовик, умер рано — “в васьиловом, в ненавистном, в шестьдесят шестом”. Мама Николая, Клавдия Фёдоровна, пережила своего мужа всего на десять лет. Смерть родителей глубоко повлияла на Николая, став одной из сквозных тем его творчества.

*Усталое сердце твоё замолчало,
Но дом ты поставил, отец.
И это подворье не кол и мочало,
Не просто конёк и венец.*

*Углы не кропили, порог не святили,
Но, нежить и нечисть круша,
Здесь тихо сияет, как вечный светильник,
Твоя фронтовая душа.*

Поэзия не может воскресить дорогих нам людей, но ей под силу своим прикосновением даровать нам благодарную память вечную — как тихий, врачующий душу свет.

*“Налей ежике молока,
И жабу чёрную почаше
Ты от пчелиного летка
Гоняй”. Молчат глухие чащи.*

*Страдать природе не дано.
В окне листва молчит резная.
Записка мамина давно
На сгибах вытертых — сквозная.*

И даже когда “наступит темнота”, она, поэзия русская, клонясь к страдающему сердцу, найдёт, подскажет выход.

*Сейчас наступит темнота,
До глаз и сердца доберётся.
Мне двадцать шесть. Я сирота.
Усынови меня, берёза.*

Николай Дмитриев, чистый родник глубокого, совестливого русского слова, был усыновлен — берёзой, бором, землёй, “исклёванной дождём”. Безвестной “речонкой Тарусой” — и куда более именитой, звучной рекой Рузой. И — Родиной, тогда ещё большой и сильной (“Есть созвучье — Руза и Россия, // Есть созвучье, но не в звуках суть”).

И он всю жизнь старался их не подвести.

После окончания пединститута работал в родном Рузском районе учителем в сельской школе, служил в армии — далеко, в Казахстане, у озера Балхаш. И — походя вроде, не отходя далеко от повседневных забот и тревог, — писал стихи. О чём писал? О главном.

*“Пиши о главном”, — говорят.
Пишу о главном.
Пишу который год подряд
О снеге плавном.*

*О жёлтых окнах наших сёл,
О следе санном.
Считая так, что это всё —
О самом-самом.*

*Пишу о близких, дорогих
Вечерней темью,
Не почитая судьбы их
За мелкотемье.*

*Иду тропинкою своей
По всей планете.
И где больней — там и главней
Всего на свете.*

Так и жил он, Коля (именно так, с теплом и душевной приязнью, называли его многие коллеги-литераторы) Дмитриев, — “где больней”. В советское время у него щедро, большими тиражами выходили книги (“О самом-самом”, “С тобой”, “Тьма живая”). И премиями-почестями его не обходили (помимо прочих, и престижную по тем временам премию Ленинского комсомола получил). Но он не менялся, не “бронзовел”, не черствел сердцем. Цвёл, как та мать-и-мачеха, “у нетающего снега на краю”. И снова и снова сверял жизнь свою с судьбой страны, советовался с незримо шедшими рядом с ним родителями.

Вот он, молодой, но уже известный поэт, говорит с мамой — в стихотворении с таким непривычным, режущим глаза названием “47 руб. 45 коп.”:

*Ты жила на пенсию такую,
Но писала: “Ничего, кукую.
Куры пролезают в городьбе”.
И ушла в немыслимые дали.
Мне сегодня, мама, деньги дали
За стихи о доме, о тебе.*

*Яркие бумажки протянули,
Словно бы осину тряханули
И листву советуют сгрести.
За стихи о тёмном, бедном доме!
Ох, и жжёт листва мои ладони!
Ну, куда, куда её нести?*

Трудные, горевые строки... И наверняка ведь “знающие”, “умные” люди отговаривали, и не только от названия: дескать, чего старое бередить... Не отступился. Наверное, и потому, что были рядом с ним и другие люди — настоящие.

В какой-то мере рано умершего отца заменил Коле редактор молодого альманаха “Поэзия” Николай Старшинов, поэт проникновенно-честного голоса и не слишком ласковой судьбы. Это к нему, умеющему “погибать между строчек, воскрешающих веру в слова”, обращался молодой поэт с сыновней, по сути, просьбой-признанием:

*Не оставь эту землю до срока,
Не погасни, как вечер в окне.
И люблю я тебя одиноко,
От влюблённой толпы в стороне.*

Николай Константинович умер в 1998 году. Кто же мог тогда предположить, что любимый ученик переживёт его всего на семь лет...

Жизнь всегда неласкова к поэтам. А тут ещё такое потрясение — страна распалась. А вместе с ней распались люди. Те, кто побойчей да понаглей, пошли по головам своих сограждан к вожделенному корыту. К власти пришли дельцы, готовые ради удовлетворения своих политических амбиций мать родную продать. Такие понятия, как совесть, честность, сострадание, патриотизм, были публично затоптаны в грязь и осмеяны. “Пятая колонна”, радившаяся в одёжки передовой советской интеллигенции, публично, “под камеру” жгла партбилеты. Спортсмены уходили в рэкетирские школы, школьницы — в “интердевочки”.

Николай Дмитриев тяжело переживал этот слом. И, конечно же, не мог молчать.

*Свобода слова, говоришь,
И всяческой приватизации?
Москва похожа на Париж
Времен фашистской оккупации.*

*Пусть продают кругом цветы,
Пусть музыка и пусть движение,
Есть ощущение срамоты
И длящегося унижения.*

Не могли обмануть его и некие “публичные жесты”, с помощью которых нувориши, эти новые служители мамоны, якобы из благих побуждений, пытались, что называется, “сделать себе лицо”, получить отпущение грехов. Во-все не будучи недоброжелателем Православия и Церкви, Николай Дмитриев откликнулся на одно из знаковых событий новейшей российской истории по-некрасовски горькими и честными строками:

*Храм возводится, нищих плодя.
Положили кирпич — застрелился
Офицер молодой, не найдя
Ни буханки в семью, как ни бился.*

*Кто-то сытый, из новых, из этих:
— Возрождается Русь! — говорит.
Купол краденым золотом светит,
Словно шапка на воре горит.
("На строительство храма Христа Спасителя")*

Это ли не голос гражданина, не страшась говорить правду в лицо и властителям, и так называемому "общественному мнению"? Общественное мнение закавычено мной не зря: его роль давно уже, под шумок "демократических" перемен, присвоили себе самые отвязные либеральные СМИ и так называемые "элиты" — всякого рода гниль и плесень, — пытающиеся изжить, скрыть, заместить собой русское чувство и русскую мысль.

С таким мнением русскому поэту считаться не пристало. Он и не считает-ся. И потому намеренно говорит о другой своей боли — разрушении села, — не чураясь "модной" риторики самой либеральной тусовки. Контраст получается просто убийственный.

*На мглистой заре XXI века
Я славлю борцов за права человека.*

*За чёрную воду гнилого колодца
С тяжёлой бадьёй вылезают бороться*

*Старухи в обносках и парень-калека —
Четыре борца за права человека.*

*Им надо бороться, и не понарошку,
За право своё на дрова и картошку.*

*А значит, на жизнь — это главное право...
Скрипуч журавель, а ворона картава.*

А "мглистая заря" всё длилась и длилась, и никак не наступал день. Пытаясь его приблизить, поэт не щадил себя, не берёт. Хорошо знал, что надолго его не хватит, и того не страшился. О другом он думал, куда более для него важным:

*Осталось уж не так и много
Скрипеть до смертного конца.
Я знаю: у того порога
Увижу хмурого отца.*

*Увижу орденские планки,
Увижу ясные глаза.
Он заставлял чужие танки
Коптить родные небеса.*

*И спросит он не без усилья,
Вслед за поэтом, боль тая:
"Так где теперь она, Россия,
И по какой рубеж твоя?"*

Ответить отцу, ответить детям, ответить Отчизне — он смог ли, Коля Дмитриев? Думаю, что смог. Россия, сколь бы "эти, из новых" ни возвещали ежедневно о своих победах, всё ещё держится. Она всё ещё наша — по совести, по сердцу лучших её сыновей и дочерей.

Таких, как русский поэт Николай Дмитриев.

Память прихотлива...

И вдруг оказывается, что это тоже из твоей жизни: поле, снег, ветер встречь – пронизывающий, пригибающий к земле. И цепочка путников – то ли сбившихся с пути, то ли решивших переупрямить эту снежную сумеречь. Труднее всех идущему впереди. Не только потому, что он проминает снег, приминает плечом, смиряет самый яростный порыв ветра. Он идёт впереди и потому должен знать, куда торить путь, должен вывести. Остальные идут за ним, зная одну заботу: ступать след в след. И вдруг тот, кто идёт впереди, такой сильный, такой надёжный, падает.

И не может подняться.

Остановилось сердце.

И все, кто шёл за ним, ощущают не порывы ветра, не снег на щеках, а обступившее их бескрайнее пространство, от которого их некому теперь укрыть...

Знал ли я человека, которого – будто бы по праву старой дружбы – называю здесь Николаем, Колей?

Да, знал.

Не мог не знать: в поколении тех, что “в пятидесятых рождены”, он шёл впереди.